

ПЛУГ И БОРОЗДА

Всему начало — плуг и борозда,
поскольку борозда под вешним небом
имеет свойство обернуться
х л е б о м.

Не забывай об этом никогда:
всему начало —
п л у г и б о р о з д а.

А без начала, ясно, нет конца,
точнее, не конца, а продолженья,
ну, а еще точнее — нет движенья
и, значит,
завершенья нет. Венца!

О сколько раз мы —
век сменяет век —
успели утолить познания жажду
с тех пор,
как сделал борозду однажды
и бросил зерна в землю человек.

Растут, бесчисленно множась, города,
Луна
людским становится причалом...
Н а ч а л о ж
остается все началом,
и суть его все та же —
б о р о з д а.

Не забывай о нем у пирога
и даже перед сном смежая веки,—
как забывают

о начале

реки,
раздвинув беспредельно берега.

И если стала близкой нам звезда
далекая,—

скажи, не оттого ли,
что плуг не заржавел,
что в чистом поле
вновь обернулась хлебом борозда?

Не забывай об этом никогда.

КИСТЬ РЯБИНЫ

(Осенние этюды)

1

...И все же
лжешь ты, в паспорте строка!
Я осенью родился,
а не летом.
И матери свидетельство об этом
важней мне «метрик», взятых с потолка.

В тот день,
как в деревнях заведено,
ей бабушка нагрела спешно баньку...

«...И вот лежим с тобой
и слышим батьку,—
рассказывала мать мне. —
Он в окно
сначала постучал: видать, робел...
Потом ввалился... Прямо из овина!
В руках — рябина, в волосах — мякина...
Вошел, и в первую очередь — к тебе.
Доволен, вижу. Радуется: сын!
Взглянув, как ты посапываешь сладко,
сказал шутливо:
— Ох, Сережка с маткой!
Ну, что бы подождать...
Один овин
домолотить осталось!»

Те слова,
знать, потому и врезались мне в память,
что я, с тобою в баньке лежа, парень,
о том же сокрушалась и сама.
Закружат батьку, думала, дела.
А я могла цепом-то... И любила! —
И улыбалась, вспомнив: —
А рябина
в тот день, когда тебя я родила,
была такой краснущей — не сказать!
Она росла у самого порога.
Ну, батька, чтоб порадовать немного
меня,
и вздумал кисточку сорвать...

Слаба теперь уж памятью-то я,
а это, вишь ты, помню...
Ведь не часто
вниманием сердечным да участием
нас баловали в те поры мужья».

2

Осенний я...
чем дальше жизнь идет,
тем все любей мне
это время года,
когда дожди тихи,
когда природа,
грустя о прошлом,
будущим живет.
Все в будущем —
дано одной лишь ей
надеяться,
когда уже все в прошлом...

И вот она, соря в полях порошей,
любуется озимых яркой прошвой
и поднимает в небо журавлей.

«Кру, кру!» — над лесом,
голым и немым,
над золотыми скирдами соломы
и надо мной, мальцом белоголовым,
рукой средь поля машущим вслед им...

Мне и сейчас он помнится — «кру, кру!» —
крик журавлей, на юг летящих клином.
И дым голубоватый над овином,
и дух ржаной наполовину с дымом,
и стук цепов согласных поутру.
И озимь,
как залог, что не навек
полям — снега,
а журавлям — чужбина,
что вновь у баньки зацветет рябина...

Лишь старше на год станет человек.

3

Что помню я еще о той поре?
Отаву...
Лен, разостланный на лежку...
Капусту... И, конечно же, картошку,
картошку, испеченную в костре.

О, как мы пировали, ребятня,
и как смешно, я помню, «танцевали»,
когда, от жара морщась,
доставали
обугленные клубни из огня.

В нас оживал, должно быть,
предков дух:
огонь и пища — что еще нам нужно!
И ликовали мы,
и хворост дружно
в костер бросали, чтоб он не потух.

А взрослые —
земля была щедра —
нас издали строжили понарошку.
И вместе с нами дули на картошку,
на корточки присев возле костра.

И вновь, склонясь, с корзинами брели
меж взрыхленными плугом боровками
и красными от холода руками
картошку выбирали из земли.

Потом мешки вздымали не спеша,
телегу до отказа нагружая...

И вечным благовестом урожая
крестьянская их наполнилась душа.

4

Теперь те дни безмерно далеки.
Но тянет, тянет осенью в деревню,
когда в ней источится дух варенья
и уберутся все отпуски.

Когда там бродят зябко по стерне
одни стада...

А стежки поразмыло...

Когда природа кажется унылой,
печальной и безрадостной...

А мне,
а мне она, когда идут дожди
и омота полны листвою опавшей, —
мне кажется тогда она уставшей,
как мать с новорожденным у груди.

И просветленной...
Безмятежен взор
осенней,
долг исполнившей природы:
просторны рощи, и прозрачны воды,
и тих земли и неба разговор.

Спят где-то голосистые грома,
скатившись гулко с плеч высоких лета...
Лишь слушают
тоскливый посвист ветра
под крышами глухими закрома.

5

А в избах, у порогов, сапоги,
резиновые — нынешняя мода.
А в кадках —
леса дар и огорода,
а в печках — с мясом щи и пироги.

Спешить — куда?..
Начнется день едва,
а глядь, уже и вечер на крылечке.
И хлещет дождь в окошко.
И в припечке
потрескивают весело дрова.

На улице — глаз выколи — темно.
Но вон, светя фонариком неярким,

с работы возвращаются доярки,
ребята пробираются в кино.

А старики, спровадивши внучат, —
им не тягаться с ними: клуб не близок, —
позевывая, смотрят телевизор,
«Скорей бы подморозило», — ворчат.

Всю ночь капель: буль, буль...
А по утрам
опять дымы стекают с крыш покатых.
И, красные,
на белых комьях ваты
рябины кисти рдеют между рам.

6

Когда огонь в печурке догорит,
а дождь зарядит, будто бы навечно,
люблю я выйти в шубе на крылечко,
где дядька вечно что-то мастерит.

Поправив молотком в рубанке сталь,
то брус стругает дядька мой, то доску..
А я курю в сторонке папироску,
туманную оглядываю даль.

Какой отсюда на деревню вид!
Вон лес, куда я бегал за грибами.
Вон через речку мост...
А вон и баня —
та самая... Она еще стоит.

Мы и теперь в ней моемся..
А вон,
пред банею, вся в ягодах, рябина.

И только мамы нет...
И нет овина.
Подгнивший, на дрова распилен он.

Накрапывает дождь...
И все сильней
вспоминанья мне сжимают горло.
Нет, время, нет,— еще не все ты стерло,
не все ты стерло в памяти моей.

И начинаю я по одному
припоминать всех жителей посада:
чей с краю дом стоял?
И чей с ним рядом?
Кто в третьем, опушенном, жил дому?

И в пятом, там, где листьями сорят
высокие березы — осень, осень —
и в двадцать пятом,
возле старых сосен,
что тучей над деревнею парят?

И вслух считаю: — Тридцать...
тридцать два...

А дядька вдруг вздыхает:
— Было сорок. —
Я ежусь: холодок течет за ворот...
И зябко прячу руки в рукава.

ТРИ СОСНЫ

Ах, как они стояли, боже мой,
те три сосны!..

Бывало, что под вечер
спешишь с корзиной с озера домой
и ждешь, все ждешь,
как с другом, с ними встречи.

В своем краю и на своей земле
они стояли посредине луга,
поотстранясь вальяжно друг от друга,
как три богатыря навеселе.

Стояли и шумели...

И чубы
сплетали... А в чубах сновали птахи.
И крепко пахли смолкой их рубахи,
и бронзою поблескивали лбы.

Никто в деревне не считал им лет:
казалось всем —

стоят они тут вечно.

...Спешу опять к знакомому крылечку.

Вот луг. Вот та тропа.

А сосен нет.

Не узнаю знакомые места.
Гляжу на три широких пня средь луга
и чуть не плачу: горько...

Словно друга
в живых я,
возвратившись,
не застал.

Не слышно шума сосен с высоты:
распилены и свезены к сараю...
Что с вами, люди? —
голову ломаю. —
Такой не пощадили красоты!

ОНА МНЕ
МАТЕРЬЮ БЫЛА

Критик мой, ты меня не брани,
что я кланяюсь снова с грустью
деревенскому захолустью...
Критик, ты меня не брани.

Я не хуже, чем ты, л и т с п е ц,
знаю — не по твоим уставам,—
что приходит деревне старой,
как ты выразился, конец.

Ах, далось же тебе шпынять
за грехи меня!.. Это просто.
Ты б попробовал, стрелы остря,
прежде душу мою понять.

Да тебе ли понять, тебе ль,
что деревня была мне смала
та же добрая мама...
Мама,
очень старенькая теперь.

Что она мне, сыну, дала
душу, слово, характер, силу.
Научила любить Россию
и добро отличать от зла.

...Вот стою перед ней, седой,
нежно глажу ее морщины,

не ребенок уже — мужчина,
кстати, тоже не молодой.

И умом понимаю: да,
отжила... — А в полях моторы:

— Отжила-а... —

словно эхо, вторят,

— Отжила-а... —

гудят провода.

Но душой — хоть меня убей,
хоть живым зарой вместе с пею! —
я жалею маму, жалею,
низко кланяюсь в ноги ей.

Вновь и вновь обращаю взор
к ней: хочу — продолжатель рода —
знать, как прадеды жили —
Федор
и — по матери — Алафер.

Благосклонна ль была судьба
к ним? Чем были они известны?
И какие певали песни?
И удачливы ль на хлеба
были?

Очень хочу я знать:
глубоки ль и где мои корни?
А она уже и не помнит
ничего о прадедах, мать...

Да и песни — стара, стара —
мама тоже перезабыла.

А ведь помнила. И любила
петь их в долгие вечера.

Мне ль корить ее? Не корю.
Нет, другой одержим я целью.
— Ты была моей колыбелью,—
тихо старенькой говорю.

Я сбегал с твоего крыльца,
а в руке — горбушка ржаная...
И спасибо тебе, родная,
что не холила ты мальчика.

Пригодилось и это мне,
выручало меня порою
и особенно — я не скрою —
на жестокой на той войне...

И хорош бы я был, хорош,
если б вдруг, не признавши сына,
мама: «Чей ты?» меня спросила
и «Откуда, куда идешь?»

НА КРЫЛЕЧКЕ

Летом девичий сон недолог.
Летом Зинка
едва в кровать
заберется, откинув полог,
а ее уже кличет мать:
— Дочка, сбегай-ка по водичку!
— Счас... — А губы у Зинки спят.
И глаза еще спят,—
хоть спичку
ставь! — закрыться все поровят.

А маманя бранится: — Эка
ты засоня! — на Зинку зла.
«Пожалела бы человека...
Ведь сама молодой была»,—
Зинка думает, просыпаясь.

И на старенький половик
ставит ноги и, как слепая,
по шатучим доскам сарая
в избу топает напрямик.

Умывается по-за печкой
и выскакивает, бодра,
с коромыслищем на крылечко —
два — на левой руке — ведра.

Раз, два, три!.. — по ступенькам.
Донце
о другое донце звенит.

Раз, два, три!.. А ступеньки
солнце,
солнце красное золотит.

Вдруг —
как будто поймали Зинку,—
встала, смотрит: вот тут, рядком
(если б только рядком — в обнимку!)
просидела она с дружкой
до зари... Вот на этой самой,
верхней, вымытой добела...

Ох, услышала б только мама!
Ладно, крепко она спала...

— Дождик будет! — уверил Зинку
парень. И позвал на крыльцо.
Зинка прятала все в косынку
раскрасневшееся лицо.
Закрывала ему ладонью
губы: — Видишь, уже рассвет...

А про дождичек и не помнит:
был он, дождичек, или нет?..
Да и ночь-то была ли тоже?
Может, это всего лишь сон?..
За калитку ступила — боже! —
у колодца машина: он...
Наклонясь, в радиатор воду
педит струйкою из ведра...
А в машине полно народу —
едут сено сгребать с утра.
Зинка, как ни в чем не бывало,
шасть к колодцу!

А он ей вслед:

— Дождик будет опять, пожалуй...

— Да откуда? Ни тучки нет...

— Будет, бабы... Спросите Зину...

(«Вот бессовестный, вот нахал!»)

А парнишка уже в кабину

сел и кепкою помахал...

РЕВНОСТЬ

«...У клуба, конечно, конечно, под топодем
гармонь-то поет! У девчонок в кругу...
А я еще лугом, а я еще по полю,
ботинки в росе замочивши, бегу.

Ха-ха! И штаны — до коленок!.. Отпаривал,
залетка, наглаживал, делал стрелу!..
А Васька-то как с ней вчера разговаривал...
Сорокой вертелся пред ней на колу!

Ну, нет, брат... Не выйдет!

По этой по тропочке
побегай-ка столько, помни-ка траву...
Я, может, седьмые сегодня подметочки —
роса-то какая! —

на ней оторву!

Пусть скажет Алена да свет Николаевна,
сколь темных ночей недоспал я в году...
Меня, чтоб ты знал, и собаки облаивать
давно перестали, когда я иду.

Да я бы давно уж — дорога недлинная —
ее заневестил, тебе доложу,
когда б не маманя. Бубнит: «Не малина, мол...
Небось не осыплется!»

Вот и хожу...

А ты тут... Меня — не тебя она тешила,
при публике, да! в намереньях пряма

сама мне гармошку на правое вешала,
за отводом, в поле, снимала сама!

Аленка — она, брат, такая характером!
И вот что, студентик, запомни ты впредь:
ее от меня не оттащишь и трактором,
а ты... бородой захотел оттереть!

Хо-хо! А приличную скорость-то выжал я!
— Приветик, ребята! — Здорово, садись!
Тю-тю!.. А ведь Васька-то, рожа бесстыжая,
с Аленкой опять же танцует, кажись...

Ну, точно — с Аленкой!

Ах, маменька рódная!

Взглянула бы ты, что творится-то тут...
Малина, малина она огородная!
Сорвут — не осыплется... Точно сорвут!»

НЕ ПЛЯШУТ

Виктору Бокову

«В нашем клубе теперь культурно.
Ребята теперь не пляшут...»

*Из речи зав. сельским клубом
Маши Р.*

«Не пляшут!

Вышла эта мода.

Произошел большой скачок
в культурном уровне народа,
о чем за два последних года
я вам и делаю отчет.

Не пляшут!

Танцы, только танцы!

Ребята,

ежели взглянуть
со стороны,
как иностранцы,—
не уступают им ничуть!

А то, бывало, нету сладу
с шальными...

Выйдут: бух да бух!

А нынче — танцы до упаду,
часа по три-четыре кряду,
и без особого догляду —
свет лишь бы только не потух.

Стеснялись, помнится, сначала,
«трясучкой» даже звали твист...

Но я на это не серчала,
сама их лично обучала,
пластинки ставил гармонист.

Теперь мы с ним
танцуем оба.

Теперь в углах уже никто
не жметя: кончилась учеба!
Жаль только —
нету гардероба:
танцуем в шубах и пальто...»

Ах, Маша...
(Вы простите, Маша,
что я успел на карандаш
взять ваш отчет.)
Итак: не пляшут...
Мне показался, Маша, страшен
и очень горек опыт ваш.

Чему вы радуетесь, право?..
Ужели не известно вам,
что пляска русская,
как лава
громокипящая,
со славой
прошла по всем материкам?!

Да, с ярым топаньем и свистом!
Да, с частой дробью!
— Эх, ходи! —
И с неизменно голосистой,
замороженной гармонистом
трехрядкой русской на груди!

Под переборы той трехрядки
кто не бросался вихрем в круг?

горела, да растаяла,
любила, да оставила.

А было раз:

кипя отвагой,—
те дни не так уж далеки,—
распив, что было в наших флягах,
мы в площадь —
в площадь у рейхстага! —
вбивали лихо каблук!

Вбивали, сбросив с чубов каски,
напротив черных тех дверей...
И помнят недруги —
не сказки! —
гром той победной русской пляски
ясней,
чем грохот батарей!

И будут помнить,—
так-то, Маша...

Сомнений нет на этот счет.

А вы: «У нас теперь не пляшут...
Произошел большой скачок...»

Не верю вашему уставу!
Как говорили в старину:
«А я и в гроб ложиться стану,
а лаптем все же болтану!»

представленья их столь дремучи
и отстали, что боже ж мой!..

Что на это сказать,
ответить?

Да, померк он для старцев, свет...

Но

в семнадцатом

старцам этим

было... двадцать неполных лет!

Двадцать!

Слышите, пустомели?

Мир от бури глох. И они

по-за печками не сидели,

труса праздную, черт возьми!

Ну, а после,

утерши лбы-то,

по вокзалам, цехам, дворам,

что наломано и набито,

дядя, что ль,

за них

подбирал?!

Или:

кто на лютых морозах

зажигал Магнитки огни?

Кто бессменно ломил в колхозах?

На лесных делянках?

Они!

И хватило б тех дел, ей-богу,

им,

чтоб чтили их век сыны!

А они еще вспомнить могут
и четыре
года

войны.

Смерть просеивала сквозь сито
жизни — выжили!..

И опять,

что наломано и набито,
им же выпало подбирать.

Старцы — всё они испытали.

Так с каких это пор, с каких
нам,

расправившим крылья,

стали

утомительны речи их?!

Представленья о жизни — косны
и дремуча, как лес, мораль?

Я к вам, старцы, иду с вопросом:

— Где

и как закалялась сталь?

Чем силен и могуч отроду

был народ мой?..

В конце концов

дети,

вечно

блюдя природу,

брали лучшее от отцов!

Уважали лета и раны их,

чутко вслушивались в слова,

— чтоб не вырасти —

пусть Иванами,—

да не помнящими родства.

Меньше, старцы, вас год от года
и, что сделаешь, глуше речь...
Память ваша —

память народа.

Нам ее для сынов
беречь!

ПЕРЕКУР

Солнышко усталое катилось
за полдень, сжигая синеву...
Мужики закладывали силос,
весело работали, красиво...
Покурить присели на траву.

Крякали, подбрасывали шутки:
«Не стишки писать, мол... — в адрес мой.—
Тут, мол, сбросишь лишнее за сутки!»
И дымилась мирно самокрутки,
и вились стрижи над головой.

А потом,
большой, простоволосый,
фронтоник бывалый, ныне дед,
Клим Вольнов сказал, окурок бросив:
«У меня, Васильевич, вопросик
есть к тебе... Ответишь али нет?»

«Что ж, давай...» От Клина жди подвоха:
я насторожился. «Значит, так...
Тут один из вас... того... —
со вздохом
начал Клим.— Смотался — ну, эпоха!—
за границу, мать его растак!

Я прошел войну и знаю: худо —
перебежчик... Это ж не в кино!

Ты вот и скажи теперь: откуда,
из какой губернии он, иуда,
родом?»
«А тебе не все равно?»

«Все равно?.. — И Клим прищурил узко
левый глаз.— А вдруг он мне родня?!—
Сплюнул и добавил зло и грустно:—
От его фамилии-то русской
тень-то ведь легла и на меня.

И такое чувство в результате:
будто он из нашего полка,
перебежчик этот и предатель...»
«От своей фамилии-то, кстати,
он отрекся,— вставил председатель.—
Так что...»

«Ха, утешил старика!
Да ведь этим самым он мне в рожу
залепил еще один плевок,
гад ползучий!»— лихо подытожил
Клим Вольнов.
«И мне,— сказал я,— тоже...»
Что я тут еще добавить мог?!

КОГДА СЫНОВЬЯ НА ВОЙНЕ

Приду, бывало, к ней,
напротив сяду
и — как же, мол, в войну-то ты жила?

— Да как...— вздохнет.— Четыре года кряду
все плакала, все слезоньки лила.

Как грянуло,—
от Коли ни словечка...

А я все жду. А я креплюсь и жду.

Увижу почтальоншу —
на крылечко

бегу встречать: не верую в беду.

А ночью — лягу —
кровь, все кровь мне снится.

Толкую сон: «О доме затужил...

Живой...»

А немцы, слышу, у столицы.

А Коля — в пограничниках служил...

От батьки-то в те дни как раз,
помята,

пришла-таки писулечка одна.

«Ох, где-то наши, Катенька, ребята?

Увидимся ль, как кончится война?»

И все...

И больше не было ни строчки.

И скрашивали боль мою и грусть
твои — я получила их — листочки,
я их читала бабам наизусть.

А если не писал и ты, Сережа,—
не знала я, куда себя мне деть...
Одно лишь оставалось мне — о боже!—
на ваши фотокарточки глядеть.

Вот прибегу растрепанная с поля —
и к карточкам, лишь двери отворю:
«Сережа, добрый вечер. Здравствуй, Коля.
И ты, отец, здорово!», — говорю.
Одну, другую карточку с комода
сниму...

А в горле ком — не проглочу.
И так вот день за днем —
четыре года:
то плачу, то работу ворочу.

А бабы —

им не все же горе мыкать:
его хватало, горюшка, на всех, —
наладятся в какой-нить праздник выпить,
да спяна-то забудутся — и в смех.
А мне так дико это все —
ушла бы!

И грудь теснит:

вот-вот сорвусь на крик:
«Да как вы это можете-то, бабы,
смеяться-то?! А вдруг да в этот миг
кого-нибудь из ваших ненаглядных
убило?! Крикнул: «Мама!» — и затих...»
А отойду: «Смеются — да и ладно.
Поплакать
будет времечко у них...»

И верно —

редкий день без причитанья.

Услышишь — аж мурашки по спине!..

Нет матерям страшнее испытанья,
чем то, когда их дети на войне.

ПЕСНЯ О КУЗНЕЦЕ

Ивану Шилову

Мы с тобой и в самом деле
много соли вместе съели.
Много вместе на веку
искурили табаку.
И едва подсохнут лужи
на дорогах, снова я
по велению старой дружбы
в наши трогаюсь края.
Любо в кузнице просторной
мне, прибыв издалека,
постоять с тобой у горна,
прикурить от уголька.
Расстегнуть рубахи ворот
и, загнувши рукава
до локтей, обрушить молот
на металл — и раз, и два...
Бить, не выступит покуда
пот горячий на спине.
Я ль об этом позабуду?!
Впрочем, речь не обо мне.

1

Возле речки, там, где ивы
ловят в струях голавлей,
ты идешь неторопливо
с полным кузовом углей.
Вспоминается болото...

В сорок памятном году
там лежал ты с пулеметом
в атакующем ряду.
Бил и бил неутомимо,
чудом целый и живой
в пекле том...
Но взвыла мина
над твоею головой.
И, задев верхушку елки,
полюхнула жаром вниз.
Глубоко ее осколки
в тело белое впились.

Эта порция металла
не была тебе мала.
Смерть тебя уже пытала —
вынес. Жизнь свое взяла.

Подлечился — и в дорогу,
к детям, к женке поспешил.
И принес к ее порогу,
кроме праведной души,
два захватанных, бесплатных
деревянных костыля,
да шинель, да дух палатный
от казенного белья.
Ох, была нелегкой встреча.
Жгли махорку старики
да тужили... да весь вечер
женки плакали в платки.
Детвора глазела с печки.
И сидел ты — не герой,
а всего солдат увечный —
перед этой детворой.

Что к чему — ребята знали!
Убеди-ка их поди,
что герой ты, коль медали
не бряцают на груди.
Спорить с этою ватагой
было попросту грешно.

(Да, не мало за отвагу
храбрецов награждено.
Только, может, больше втрое —
ведь сражение не парад! —
незамеченных героев,
неполученных наград.)

Впрочём, нет, не о наградах
ты печалился в ту ночь:
шла война, и было надо
чем-то женщинам помочь.
Так и этак толковали,
но клонили к одному:
— Коли можешь, поковал бы,—
в поле ты нам ни к чему.
— Что ж,— ответил,— ваша воля.
Не болела бы нога...—
А уж так хотелось в поле,
в рожь высокую, в луга!

2

Посевная, посевная,
небо — чашей голубой.
Сторона моя родная,
вновь я встретился с тобой!
Опьяненный ветром вешним,
тропкой к кузнице иду.

— Дядя Ваня, друг сердешный,
с добрым утром! Честь труду!

Мы, конечно, оба рады
новой встрече: минул год.
Нам, пожалуй, сесть бы надо,
покурить... Но у ворот
трактор, в копоты, в автоле,
молчалив и зол на вид,
одинокой фарой в поле
с нетерпением глядит.

И пока его ты чинишь,
примеряешь там да тут,
словно низшие по чину,
кони очереди ждут.

А до кузни утром ранним
долетает с белых мхов
свадебное бормотанье
лирохвостых женихов.

— Дядя Ваня,— говорю я,—
слышишь, вся земля гудит!—
Сокрушаясь и горяя:

— Слышу, парень,— говорит.
Намекаю осторожно:

— Может, сбегает на ток?—
Он в ответ:— Оно бы можно...
Сам о том грущу, браток.

Знаю, срок настал. Не рано.
Да ведь как уйдешь? Дела!
Да к тому же, парень, рана
на ноге не зажила.—

Я краснею перед другом
и, смущен, молчу! Шабаш!

И висит, набитый туго,
бесполезно патронташ.

3

Целый день над наковальней
ты вздымаешь молот свой,
ты, хотя не идеальный
для меня, а все ж — герой!
Знатокам иным в угоду
я бы мог сказать о том,
что ты пьешь одну лишь воду,
кипяченую притом.
И что ты в ладу с культурой.
И нередко в поздний час
засыпаешь над брошюрой,
благо их полно у нас.
Ходишь в клуб с женою вместе,
далеко глядишь вперед.

Но бывает, коль по чести,
чаще все наоборот.
Не хочу тебя обидеть
ложью: ты и так хорош.
На порожке кузни сидя,
я гляжу, как ты куешь.
Вскинешь молот зло и быстро:
— Гха!— и влепишь по бруску.

Словно пули, брызжут искры,
пот струится по виску.
И летит от наковальни
вдаль и ввысь, под облака,
молодое кукованье
работяги-молотка.

Варят сталь мартены где-то, II
где-то в космосе, похож
на далекую планету,
спутник мчит... А ты куешь!
Где-то люди, суесловья,
начиная ядом ложь,
бомбы новые готовят
на тебя... А ты куешь!
Руки — сильные на диво,
как кувалды — кулаки.
Ты куешь — и зреют нивы!
Ты куешь — гудят станки!
И луга цветут, и птахи
гнезда вьют в родном краю...
Я в твоём широком взмахе
мрав России узнаю!

ВТОРАЯ ПЕСНЯ О КУЗНЕЦЕ

1

Я едва ль добавлю что
к грядущей
славе дядьки Вани — кузнеца,
коль скажу, что он равнодушен
к чарочке зеленого винца.
Потому что, «долговязый дьявол»,
пьет он, в пику бабьему суду,
не втихую, не под одеялом,—
пьет у всей округи на виду!

Я и сам видал, как, фартук сбросив
в кузне,

атаманом атаман,
выходил он, чтоб в тени березки
облегчить заказчика карман.
Или, как за столиком в чайнухе
он дымился, балуясь «чайком»,
как клубились, взвизгивая, мухи
под его тяжелым кулаком.
Как он, налит по уши «Столичной»,
после мимо кузницы катил,
кузницы, какую самолично
«Ресторан «Березка» окрестил.
Как ступал он, и большой и грузный,—
словно был в ногах его металл,—
как, остановясь напротив кузни,
сам себе негромко бормотал:

«Ох ты, ресторан мой, ресторанчик,
полюй от снегов и до снегов,
сколько на углях твоих горячих
я испек железных пирогов!
Сколько лет, корпя над делом всяким,
под твоим дырявым потолком,
в бога, в душу,

я не вилкой брякал —
брякал по железу молотком.
Сколько раз под лязганье металла,
с той поры, как кончилась война,
на твоём полу меня шатало,
не совру, шатало без вина.
Может, кем-то это и забыто...
Но не мною, нет! Была пора,
ставил я коней на все копыта,
а случалось, — ставил трактора!»

...Ставил. Точно.

Он, кузнец, ни капли
тут не привирал. И потому
перед ним порой ломали шапки
даже преды — кланялись ему!

— Выручи, Васильевич! — И взглядом
ели: понимали, что почем...
И в сельмаг — он, благо, с кузней рядом, —
посылали за магарычом.
Наливали до краев хмельную
чарку — чтоб не только по усам...
И спасал им дядька посевную,
хоть самих порой и не спасал...

И менялись преды — год от году
чаще, — без особенной возни.
Дядька же — ковал! Ему отроду
не было замены, черт возьми!
Летом ли, зимою ли — ковал он!
Ну и — в пику бабьему суду —
пил в железку, «долговязый дьявол»,
пил у полрайона на виду.

Я, случалось, письменно и устно
бил его за это наповал,
бил по самолюбию, по чувствам,
к совести и к разуму взывал...
«Видишь ли, Сережа, — отвечал он
шуткою на проповедь мою, —
дело в том, что силы воли мало,
ну, а водки много... Вот и пью».

Я в ответ жестокие примеры
приводил: «Подумай, старина!»
«Так ведь с ней и думать-то, с холерой
некогда... Бездумная она!
А вообще-то — думать, дело ваше... —
И швырял окурок за плечо. —
Я ведь у железа — не у каши.
Мне ковать, покуда горячо!»

2

...И опять
гулянка в доме дядьки.
Всей деревне слышно, как бомбят
белый пол под ярый звон трехрядки
трое рослых дядькиных ребят:

Шурка с Вовкой — двое довоенных,
старших, с шевелюрой негустой,
и Сережка — младшенький,
в Елену,
в мать... По счету ежели — шестой.

Сразу видно: он и есть причина
сабантуя в доме кузнеца.
Ты развейся по полу, кручина,—
в армию забрили молодца.
Пляшет, свесив голову хмельную
перед мамой: «Мама, не суди!
Уезжаю в сторону чужую...
Ты поплачь у сына на груди».

Батька бьет с досадой по колену
пятерней: «Сережка, не трави
сердце матке! Слышь?!
А ты, Елена,
словно красна девка, не реви!»
Где там!
Накатило — не уймется,
знай, глаза углом платочка трет...

Да и самому ему не пьется
нынче, да и водка не берет.
Он вздымает руку над застольем,
но дрожит предательски рука:
дядька провожает не шестого
в армию,—
последнего сына.
Чокается: «Вышьемте, робяты!»—
не уняв по-прежнему руки.
«Значит, так, Сережка: ты — в солдаты.

ну, а мы, выходит, в старики.
Ну, а наше времечко на убыль...
И вообще: вдвоем во всей избе!
Вот что ты,
смехач наш белозубый,
натворил! Не совестно ль тебе?!»

Шутит дядька.
Хочет скрыть, что горько
на душе, а сам о том опять:

«Двое остаемся, мать... А сколько
было их у нас — не сосчитать.
Этот в зыбке,
те, вдвоем, на печке,
эти под тулуном на полу...
Ну, а летом, окромя крылечка,
богатырский храп в любом углу.
И под пологами на сарае,
и на потолке без пологов...»

Этакая музыка играет
на заре, бывало, будь здоров!

А проснутся —
ставь чугуи картошки
и в придачу хлеба каравай.
А обедать сядут —
все по ложке
зачерпнут, и снова подливай!
Ну, а если в баню —
сто одежек
припаси, такая ведь орда.

Ах, ребята, как вы быстро все же
разлетелись
из гнезда.
Да хотя б поблизости, по селам...
Так ведь нет... Такая, знать, пора». —
«Хватит разговоров невеселых,
батя! Нету худа без добра! —
Шурка подмигнул братанам: — Нету!
Зря ты тень наводишь на плетень.
У тебя ведь, как наступит лето,
праздник в доме
чуть не каждый день!
Тот с женой,
тот с внуком-шпингалетом
прикатил... И встреть, и проводи.
У тебя все лето на столе-то
харч не деревенский, погляди...
Постоянно в кадке бродит пиво...
И совсем не зря по деревням
люди про тебя твердят: «Счастливый!»,
зависть не скрывают: «Сыт и пьян!»

«Да, счастливый!
Правильно решили
люди... Уж такой во мне замес!
Немцы десять раз меня убили,
я — назло им — десять раз
воскрес!
И пришел!
И встал опять у горна.
Встал не по указке чьей-то, сам!

Я — счастливый. Верно...
Но и гордый!

Гордый потому, что сам с усам!
Потому что отродясь не бегал
от работы:

 молотом стучал,
печки клал, оковывал телеги,
и дома рубил, и мед качал...
Вот он, на столе...

А ну-ка, с медом.—

Чокнулся.— Вы вот что знать должны:
пуще-то всего перед народом
вами я горжусь, мои сыны!
Вами...

И еще хочу заметить:
счастлив я не тем, что ем и пью,—
счастлив,
что вы есть на белом свете,
носите фамилию мою.

Но бывает — маюсь думой, старый:
вдруг да снова... г р я н е т...
Ведь тогда
шестеро Ивановичей встанут,
встанут в строй для ратного труда.
Встанут, молодые, стиснув зубы,
зная точно, биться за кого...

Родине, конечно, будет любо.
Ну, а нам-то с маткой каково?!

Днями и бессонными ночами
нам не знать тогда забот иных:
всех вас шестерых жалеть,

в печали
писем ожидать от шестерых».
Шурка перебил:
«Опять ты, батя...
Ну, не тронь ты этого, не тронь...»

Замолчал. Вздохнул:
«И верно, хватит.
Хватит! Будем петь. Бери гармонь!»
Ахнул («Хорошо, стервец, играет!»)
и запел, подавшись весь вперед:

«Елена мехи раздувает,
а Ваня железо кует...»

Песня
на мотив, что знает каждый.
А слова — всего один куплет —
сами из груди его однажды
вырвались...
И лучше песни нет
для него с тех пор.

Ведь так бывало,
что жена — и это не пустяк! —
в самом деле пламя раздувала,
ну, а он ковал... Бывало так!
А порой брала — хватало духу! —
и кувалду, и лупила: и-на!..
К дому ж (он сворачивал в чайнуху)
шла, гремя кирзóвыми, одна.

Шла, почти бежала: к дому, к дому!
(«Пастухи, наверно, пригнались».)

И цаплялись на ходу к подолу
Колька, Ленька, Васька — заждались.

А Сережка, головой кудельной —
весь в нее — белея впереди,
ревмя из тележки самодельной
на руки просился...

«Погоди,
погоди, сынуля... Вот Пеструху
подою да загоню овец...
Васенька, а ты беги в чайнуху —
он тебя послушает, отец...
Только ты не бойся... Он за стопку,
ну, а ты... «Я крикну: дем домой!»
«Правильно... Чтоб денежки без толку
он не тратил больше, батька твой».

...Может, это вспомнилось Елене,
может, что другое,— не понять.
Уронила руки на колени,
глянула зареванно опять
на застолье...

Дядька, тяжелея,
издали Сережке покивал:
«Плачет... А с чего?..
Тебя жалеет!
Потому как дома не жывал
настояще...
То ты в интернате,
то ты в этом самом ПТУ...
А теперь вот в армию укаатишь...
Жалко — доведись тут хоть кому.

Ну, да ладно...— Он гармонь потрогал
и сказал — отец, глава семьи:—
Вот что... Попляши-ка ты, Серега,
мать в остатний раз повесели!»

И когда Серега встал и бухнул,
он, окинув взглядом молодца,
крикнул: «Эх, сюда б еще Колюху
да и Леньку из Череповца...
Всех!

И пусть бы грянула, ретива,
на полу на этом молотьба,
пусть бы — он притопнул — раскатилась
батькина по бревнышку изба!

Рухнула бы, словно от тарана...
Только б —

мне таиться не с руки!—
знали все, какие у Ивана
выросли ребята-мужики!
Уж они пойдут — так без оглядки...»

...Всей деревне слышно, как бомбят
белый пол под ярый звон трехрядки
трое рослых дядькиных ребят.

ПИШИТЕ ПИСЬМА МАТЕРЯМ

Поют гитар походных струны
в тайге, в горах, среди морей...
О, сколько вас сегодня, юных,
живет вдали от матерей!

Вы вечно, юные, в дороге —
то там объявитесь, то тут...
А ваши матери в тревоге
вестей от вас все ждут и ждут.

Они считают дни, недели,
слова роняя невпопад...
Коль рано матери седеют —
не только возраст виноват.

И потому, служба солдатом
или скитаясь по морям,
почаще все-таки, ребята,
пишите письма матерям!

РОЖДЕНЬЯ 1945

В ту осень стояла погода
на славу... И было как раз
начало учебного года.

И в школу,
впервые в свой класс,

пришли, молодого раденья
и, ясно, волненья полны,
счастливые дети,
рожденья
четвертого года войны.

Стояли мальчишки, девчонки
кружочком у школьных дверей,
держа по привычке ручонки
худые
в руках матерей.

А сзади, выдавшие виды,
в сиянии скромных наград,
стояли отцы-инвалиды
и глаз не спускали с ребят.

Не баско одеты, обуты
ребята, да суть ведь не в том...
Значительность этой минуты
поймут они только потом.

Учителка медлить не стала
и, первой взойдя на крыльцо,

«Пожалуйста»,— мамам сказала,
«Прошу!»— пригласила отцов.

И вот, на учење азартны —
все было в новинку пока,—
ребята уселись за парты,
заявши два первых рядка.

А папы притихли. А мамы —
платочки к глазам у стены...
— Как мало, ах, как же вас мало,
ребята, вернулось с войны...—

сказала учителка, словно
подумала вслух. И в ответ:
— Вы спутали, Анна Петровна...—
пропел ей один шпингалет.—

Мы не были... Вы пошутили...
Мой папа — так точно...
— И мой!
Его там почти что убили,
а он им — ага!.. И домой.

— Вы правы, конечно, ребята,
на фронте и я не была...—
И вновь по незанятым партам
глазами она повела.
И так захотелось поверить
ей в то, что сейчас вот, сейчас
привычно откроются двери
у ней за спиною,
и в класс

Аленки, Николки, Маняшки
вбегут и, волнуясь слегка:
«Мы, скажут, играли в пятнашки...
Совсем не слышали звонка!»

Так это услышалось ясно,
что вдруг обернулась она.
Да только напрасно, напрасно:
за дверью была тишина.

ВОРОНЫ

Шел третий год после войны.
В июле, по обыкновенью,
ища желанной тишины,
приехал я в свою деревню.

Иду однажды налегке
по-за околицей и вижу,
как,
 по-мужицъему бесстыже
ругаясь,
с палкою в руке

гоняет птичница ворон:
— На вас бы, прѳклятые, пушку!—
И вдруг — ко мне:—
Опять урон!
Опять угробили несушку!

Шугаю вот, а толк каков?!
Ну, если б ястребы, так ладно...
Не стало, видишь, мужиков —
вот им и сделалось повадно.

— Как так?— спросил я, удивлен.
Нет, даже вскрикнул, не поверив:—
Чтоб куры гибли от ворон?!
От этих гадких? Этих серых?!

— Да, милый, я тебе не вру.
Сама дивуюсь: то ли куры,

как говорят, и вправду дуры,
то ль, как у многих на миру,
у них трусливые натуры...

Едва ворона два крыла
распустит,— глядь, уже иная
со страху будто умерла —
и не шелóхнется, дрянная.

Присядет этак вот, жалка,
и ждет, и ждет свою судьбину...
А эта серая карга
ей преспокойненько на спину —
и клювом — тук! — по голове...

Тут ей, простушке, и кончина.
Идешь — валяется в траве...
Ты понугал бы их, мужчина.

Я снял двустволку со стены
и, яростный, вогнал патроны
в ее тяжелые стволы:
— Ужо вам, серые вороны!

Клюв свой нося, как долото, —
орлы! — вы мните друг о друге.
Кто здесь оплатит вам?

Никто!

Поскольку куры лишь в округе.

Ну, а на бабье «кыш!» да «кыш!»,
на трепыханье юбки в раже
взираете вы нагло с крыши,
не шевельнув крылами даже.

...К курятнику по борозде
подкравшись, встал возле куста я
и выглянул:— Так вот ты где
пируешь нынче, вражья стая!—

Сверкнул огонь из двух стволов —
и грянул гром. Свершилась кара.
И начался переполох
среди их серого базара.

И понеслось на крыльях: кар-р!
Через реку, через болото...

Швырнул я — точен был удар!—
одну из серых за амбар
и в тишине промолвил:
— То-то!..

КАРТОШКА И ЦВЕТЫ

И. А. Ожерелкову

Весной —
дела житейские просты —
сажали все картошку в огороде.
А он сажал
картошку и цветы,
хотя была картошка только в моде.

Весь день гремел протезным каблуком
меж гряд —
с войны вернулся он калекой...
И все его считали
ч у д а к о м,
хотя он был нормальным человеком.

Но шел иной за тридцать три версты,
чтоб ч у д о м ч у д а к а
полюбоваться.
А он дарил, дарил, дарил цветы,
вновь чудачком рискуя показаться.

И дрогнули,
как ни были глухи,
сердца людей:
все чаще под окошком,
где до сих пор жирели лопухи,
цветы вставали.
Рядышком с картошкой!

РОССИЯ

1

Россия — росы и сиянье.
И значит — утро,
значит — свет.
И расстоянья, расстоянья —
без них России просто нет.

Эх, птица-тройка!
Не с того ли
нам век тревожили сердца
и скрип полозьев в зимнем поле,
и чудный звон колокольца?!

Не эта ль, злая,
с дней творенья
любовь к стремительной езде,
порвав земное тяготенье,
нас,
первых,
бросила к звезде,
к тому мерцающему свету?!

И озарилась на века
завороженная планета
лихой улыбкой ямщика!

2

Любимый цвет России — алый,
а непокой — ее судьба.

Все знают:
с краю не бывала
во веки русская изба.
И нам недаром, нам недаром
на все четыре стороны
видны и отблески пожаров,
и гулы дальние слышны.

И дива нет,
что наседали,
ломались в нашу дверь враги.
И мы не скроем, что едали
не только с медом пироги...
Не сладко.
Но не бесполезно!

У нас, отведавших беды,
в крови прибавилось
железа
и поубавилось воды!
Кипенье крови жарче стало.

Но наши недруги должны
знать,
что она осталась алой,
как шелк на знамени страны!

3

Твои березы над водою
люблю... Но мне милей стократ
твое, Россия, молодое
лицо
и твой открытый взгляд!

Ни злобы, ни высокомерья,
ни лжи, ни хитрости в нем нет.
И взгляды дружбы и доверья
обращены к тебе в ответ.

Так смотрят только брат на брата,
коль брат за брата
горд и рад!
Но знают все:

для супостата
есть у тебя особый взгляд.

Белки кровавы, бровь подковой,
над переносицею — медь...
Впервой на поле Куликовом
ты так сумела поглядеть!

И дрогнула орда, роняя
секиры, копья, топоры...

А у тебя между бровями
осталась складка с той поры...
Пускай она тебя не красит!
Но и в недавние года,
познав, сколь правый гнев ужасен,
с твоих просторов восвояси
бежала

новая орда!

4

Нет, для поборников насилья
уроки времени не впрок.
Им и теперь еще Россия —
большой и лакомый пирог.

Прогуливаясь в отдаленье,
они на тот пирог глядят
и с откровенным вождельем
гадают: с чем его едят?

И вспоминают напоследок:
ломóть,
 что с краешку лежит,
успел куснуть их давний предок
и, значит, им принадлежит.

Смешны нам эти притязанья...

Пусть
 знает
 всяк,
решаясь в путь:
пирог — Россия, да с глазами,
как говорят у нас в Рязани,—
попробуй лапу протянуть!

5

В глазах России
много сини
озерной.

 И голубизны
небесной...
В мире нет красивей
и нет бессоннее страны.
Она, великая, ни разу,
воз, ей назначенный, везя,
не закрывала оба глаза
одновременно:
 ей нельзя.

Смежив одно устало око,
когда над ним луна взойдет,
она немедленно широко
другое к солнцу распахнет.

И от границы до границы,
через Сибирь,
за тот хребет,
покатят вал звенящий птицы
за солнцем вслед,
за солнцем вслед...

ОТ КРЫЛЕЧКА

«...стартовали от крылечка».

Из статьи критика Н.

Да,
я стартовал от крылечка!
И этим, мой недруг,
горжусь!
Крылечко
да русская печка,
да сани,
да в бляшках уздечка —
сама изначальная Русь.

Расправив могутные плечи
и смутных желаний полна,
на небо и землю
с крылечек
веками глядела она.

Поскольку была избяною
и сплошь земляною была,
поскольку, добавлю, иною
пока она быть не могла.

Замученной, ей,
но живучей,
как сын,
заглянув в старину,
ни лапти ее, ни онучи
вовек не поставлю в вину!
Напротив,
я буду все боле

дивиться,—
изыдь, сатана!—
как в этой жестокой недоле
душой не зачахла она.

Как в ней
совместились счастливо —
и в этом ее высота!—
незлобливость
и совестливость,
достоинство
и прямота!

Земля,
над которою
вместе
с конягой
пластался мужик,
его не учила ни лести
(пусть лучше отсохнет язык!),
ни лжи,
ни торгашеству...

Не был
он мастер купить да продать.
Умел он —
свидетелем небо —
насытиться квасом да хлебом
и нищему корку подать.
Забитого,
долготерпеньем
корить ты его погоди.
Запомни,
что точка кипенья

высокая
в русской груди!
И право,
тебе забывать бы
не след,
 говоря о былом,
кто рушил с Емелькой усадьбы,
со Стенькою шел напролом.

Кто,
 чашу терпения выпив,
по Зимнему вдарил плечом...
И гнев тот
октябрьский
В е л и к и м
Историей был наречен!

И рухнуло рабство.
И с треском
кругом послетали замки...
И к гневу тому, как известно,
причастны в лаптях мужики!

Громили они супостата,
рубили, оставив дела...
Выходит,
 крылечко для старта —
площадка не так уж мала...

Не так и неистинна, к слову
(как ты мне о том напевал):
мой тезка

 русоголовый —
Есенин — с нее ж стартовал!

ОНА НЕ СКАЖЕТ...

Из цикла «Природа-Мать»

1

Услышу ль сосен шум в полдневный час,
журчанье ль струй
 среди камушков у брода,—
о люди, мыслю я,
 у всех у нас
есть М а т ь одна,
по имени П р и р о д а!

У ней для всех хватает доброты.
И мы живем, запечатлев навеки
в душе
ее прекрасные черты —
поля, луга, леса, моря и реки.

Придите к ней,
когда у вас печаль,
я, мудрая, врачую вашу душу,
Природа
распахнет
перед вами даль
и ветром, как рукой, глаза осушит.

Представит сотню радостных
примет,
ромашек простодушных «чет» и «нечет»
и вечное: «Все суета сует» —
на языке осинок налепечет..

...И если светлой радости полна
душа,—
 справляйте пир
 с Природой рядом!
Отзывчивая, щедрая, она
ничем вам не испортит вашу радость.

Краснее окуневого пера
зажжет зарю рыбацкую над плесом,
удачей наградит!
И для костра —
сварить уху —
 валежника подбросит.

Три клада у Природы есть:
 вода,
 земля и воздух —
 три ее основы.
 Какая бы ни грянула беда —
 целы они —
 все возродится снова.

Но если...
 Впрочем, в наш жестокий век
 понятно всем,
 что это если значит.
 О человек!
 Природа-Мать ни рек
 и ни морей от глаз твоих
 не прячет.

Ни росных трав,
 ни голубых небес...
 Цени ее доверие, Природы!
 Не обмани его!
 И в темный лес
 входи,
 как в храм под мраморные своды.

Ты — Человек.
Ты — царь природы. Так.
Поскольку все в ней сущее
подвластно
тебе.
Живи, сверяя каждый шаг,
с Природою.
И будет все прекрасно.

И царские замашки не лелей
в душе,
и не давай себе свободы.

Ты — царь природы, так...
Но знай, трудней
почувствовать себя
в е н ц о м Природы!

Природу покорить?!

Ничьи уста
надменной слов не ведали отроду.
Рабыней нашей —

логика проста —
намеревались видеть мы Природу.

Объезженной лошадкой —

повернешь

куда захочешь,

лишь тряхнешь уздечкой.

Мы — дерзкие сыны ее!

И все ж...

И все ж нам от нее

зависеть

вечно!

Малыш, прижав к груди беззубым ртом,
улыбчиво кося на маму глазом,
еще совсем не ведает о том,
как многим он ей, в сущности,
обязан.

Не замечает он ни доброты,
ни ласки материнской,
ни заботы...

Ты — взрослый.

Ешь и пьешь. И рвешь цветы...

Цени Природы-Матери щедроты!

Но ты, оставшись с ней наедине,
легко решаешь:
«К черту берендейство!
Кому-то можно, видите ль,
а мне
нельзя?!»
И торжествует вновь злодейство.

Дымится лес. И пучится река
от взрыва...
Но ни жалобы, ни вскрика
тебе вослед.
Лишь лямки рюкзака
скрипят...
Увы, Природа — безъязыка.

Случится даль да глушь нам одолеть —
мы шутим, сбросив белые перчатки:
— Закон — тайга,
а прокурор — медведь! —
И в ствол вгоняем порцию свинчатки.

Палим во что попало —
жаден глаз! —
и рубим, и взрываем, и корежим...

Природа-Мать
ждет милостей от нас.
Взять их у нас она, увы,
не может.

«Я не люблю природу!
С детских лет
питаю неприязнь к полям и рекам...»

Слышали вы хоть раз от человека
слова такие?

— Нет.

— Я тоже — нет.

Все, как один,
на сотнях языков
клянутся ей в любви неистребимой...

Но кто же,
кто «наставил синяков»
ей, всеми нами преданно любимой?!

Речушка вдоль околицы текла.
Негромкая...
Но мы любили, дети,
ее — она ведь первую была
для нас и, значит,
лучшею на свете.

Сейчас в ней всякий хлам,
и ржавь, и слизь
зеленая, и хвощ болотный вылез...

Как будто люди целью задались
убить ее —
и своего добились.

Какие снятся рекам чудеса —
нетрудно угадать теперь, пожалуй:
в глубинах отраженные леса
и рыбы,
как блескучие кинжалы.

Продравшийся сквозь чащу напролом
и капли с губ роняющий
сохатый,
и белый лебедь,
розовым крылом
по синей глади бьющий,
как лопатой.

...И сели мы за столики.
 Байкал
 за окнами сверкал, переливался...
 Хотелось пить. Я взялся за бокал,
 да зря: графин порожним оказался.

И девушка
 («Что, кончилась вода?») взяла графин — я даже не поверил
 своим глазам сначала —
 и айда!..

Куда?
 А на крыльцо.
 С крыльца — на берег.
 Она не замочила даже ног...
 Вода была,
 как в первый день творенья,
 прозрачна. И вкусна!

И я не мог
 не написать о том стихотворенья.

Лес — самая высокая трава.
Я в той траве —
не больше, как букашка.
Взгляну на ель — кружится голова
и в самом деле
падает фуражка.

А лес шумит...
И словно слышу я
глас чей-то высоко над головою:
«Смотри, не наступи на муравья,
он пред тобой,
как ты передо мною».

Лес для тебя, я знаю,
лишь дрова.

Но для зверей и птиц он, лес,
жилице.

И закатать по локоть рукава
ты не спеши, сжимая топорнице;

не учиняй в чужом дому разбой,
топор вгоняя в комель с разворота,
лишь только потому,

что пред тобой
в тот дом

всегда

распахнуты ворота.

«Зеленый друг» —
так пишем мы подчас
и говорим про лес.
И в час досуга
мы навестить всегда готовы друга:
— В лес, в лес! —
И он одаривает нас
всем, чем богат.

Там травы до колен,
а там грибы...
Не сбейся только с круга.

Но честно ль это:
все забрать у друга
и ничего не дать ему взамен?!

О грибники!
Я славлю ваш топор!
И шумный ваш почлег!..
Всю ночь горели
пять сосен и четыре стройных слп.
поваленных вершинами в костер.

Вы на минуту не смежили век
и только по бутылке «раздавили»
на круг..
И даже лес не подпалили!

О грибники!
Я славлю ваш почлег!

Ах, трудно ли,
 ножом вооружась,
раздеть березу — тихую простушку —
и нацедить прохладной крови кружку,
и затоптать ее сорочку в грязь!..

Она в лесу останется стоять,
как черный вскрик,
что где-то рядом рыщет
двуногий зверь
 с ножом за голенищем...
И роца будет в страхе трепетать.

Вам,
Роберт, Гера, Феликс,
в чьи глаза
сияла гладь священного Байкала,

вам,
кто кинжалом имя вырезал
на лиственницах,
выросших на скалах;

вам,
Эрик, Эсмеральда, Ибрагим,—
романтикам,
бичам,
«землепроходцам»,—
пою я славу!..

Вдруг да не придется
прославиться вам чем-нибудь
д р у г и м.

Твержу,
 на тополь глядя сквозь окно:
 — Есть смысл в великом жизненном
завете:

когда,
 хотя бы дерево одно
 ты посадил —
 не зря гостил на свете.

Но коль тебе на это, старина,
 ни разума,
 ни воли не достало —
 не тронь хотя бы тополь у окна...

И этого с тебя не будет мало!

Что там ни говори, а факт таков —
сколь ни был бы тебе он неприятен:
в тайге теперь

медвежьих уголков
не больше, чем на карте
белых пятен.

Гремит тайга!
Конец медвежьим снам
во тьме непотревоженной берлоги!

...А не везде еще, где нужно нам,
повален лес, проложены дороги.

Да, силы стали слишком неравны.
В наш век машин,
с живой природой в споре
мы — люди, —
коль взглянуть со стороны,
как два боксера разных категорий.

Нам не в пример —
у птиц и у зверей
все та же скорость,
та же все защита:
клыки да когти,
крылья да копыта...

Командуй «брек!», судья!
Да поскорей.

В поля я вышел.
Сто в полях дорог...
А на душе досада и тревога:
кто где проехать вздумал,
кто где смог —
там и проехал. И легла дорога.

След гусениц. И снова след колес,
глубокий след по озими, по лугу...

Такое чувство —
будто кто панес
жестоко и безвинно рану другу.

От блеска рамп
и праведных трудов,
случайной снедью сумочки напичкав,
бежим,
 бежим,
 бежим из городов
на «Волгах», мотоциклах, электричках,

чтоб надышаться воздухом равнин
и отоспаться в тишине на даче...

Да, верно:
что имеем — не храним,
а потерявши — тоже верно! — плачем.

...И вот мы на Луне в конце концов,
земляне!

Обернулась сказка былью.

Мы вышли на «крыльцо».

И нам в лицо

пахнуло нежилою

мертвой пылью.

А что там — дальше?

Может, пыль опять?..

Сигналим в космос мы —

ответа нету.

И так нам, людям, хочется обнять

счастливую из всех

свою планету!

Земля...

Теперь мы знаем, что она
одна такая в солнечной системе.

Несется,

вечно щебета полна,
и плеска вод, и шелеста растений...

На ней есть Ж и з н ь.

И, как всему венец,
на ней есть Р а з у м .

Он могуч. Он может

Ж и з н ь эту

иль украсить и умножить,

иль в прах ее повергнуть, наконец!

Я говорю:

ты болен, Шар Земной.

В твоей коре ракеты,

как нарывы.

Тебя, не раз крещенного войной,

вновь лихорадят

атомные взрывы.

Ты плохо спишь —

гудят твои бока.

Ты трудно дышишь —

копоть в атмосфере.

И страшно мне, что этого пока

еще не осознал ты

в полной мере.

Когда бы я не знал,
как бьет хвостом
на звонкой жилке щука,
как под осень
ядренный рыжик, стоя под кустом,
росу как будто в рюмочке подносит;

как журавли отчальную трубят,
как эхо

повторяет рев лосиный,—
боюсь, я не любил бы так тебя,
как я сейчас люблю тебя, Россия!

Когда б я знал лишь,
как на площадях
шуршит асфальт от шин, горят неоны,
как распивают квас в очередях
и сотрясают небо
стадионы;

как белая ленивая вода
течет в ущельях каменных кварталов,—
я Родину любил бы и тогда,
но мне б всю жизнь
чего-то не хватало...

НА ТЕТЕРЕВИНОМ ТОКУ

— Тетерева-то!.. Да какие ноне
тетерева... — махнул старик рукой. —
Поди-ка, их теперь во всем районе
не сыщешь, хоть район-то — вон какой!

Бывало, выйдешь — вся округа стонет.
Теперь — хотя бы гуркнуло... Шабаш! —
И все же, вняв мольбам моим, Афоня
привел меня назавтра на шалаш.

— Ну вот, — сказал негромко, — мы и дома...
Давай сюда... — И, лапником шурша,
я влез в шалаш, уселся поудобней
и взвел курки. И замер, не дыша.

А меж лопаток — дрожь от нетерпенья.
Казалось мне: вот-вот возле куста
он сядет, первый,
и распустит перья
красивейшего, лирою, хвоста.

И, надломив в бойцовском кличе брови,
на все леса и доли возвестит,
что жаждет он любви
и крови, крови
соперника, который прилетит!

И он услышит этот клич, соперник,
и спустится, отвагой клокоча,

к тому кусту... И только перья, перья
по ветру полетят от трепача!

Я наблюдал подобные дуэли
не раз, смиряя дрожь дробовика.
Жду: нету... Жду: ни звука.
Неужели
ты правду говорил мне, старикан?!
Но нет!

Я вздрогнул даже — так он близко
и так он громко — щеголь-то какой! —
передо мною прямо приземлился,
ну так, что хоть бери его рукой!

Поогляделся, встряхивая сизый
воротничок, и — грудью на рассвет —
как будто бы перчатку, бросил вызов:
«Чуффы!» — и замер, слушая ответ.

Но не было ответа.
Только ветер
шушукал шумно в крыше шалаша...
«А вдруг... — я вздрогнул, — из живых
на свете
вот этот ффрант — последняя душа?!

Последний «мамонт» северного края!..
Не мне ль вчера Афоня говорил:
грачей весною с поля подбирали:
какой-то химикат их уморил».

А ффрант, как первый парень на деревне,
меж тем, чертя крылом, как петухи,

своей воображаемой царевне
читал проникновенные «стихи».

И кругом-кругом, подобравши полы,
и боком-боком, лиру распустив,
и — молодецки — шпорою о шпору
под страстный незатейливый мотив.

То замирал и, шею выгнув грозно,
чуфыкал вновь...
Я глянул на часы
и... выстрелил: — Лети, пока не поздно!
А я поем с Афоней колбасы.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС...

Чем дальше в лес иду —
тем все трудней...

Вот ельник —
не пробраться до середины:
одна к одной
не ели, а жердины,
сухие от вершин и до корней.

Земля вокруг них по-лунному мертва.
А вместо лап — рога...
И мох на каждом.
И тленом
сладко-приторно и бражно
попахивают грустно дерева.

Вздохнув, бреду в обход.
Но на пути
ель
рыбьим фантастическим скелетом
(наверное, упала прошлым летом),
ее решаю тоже обойти.

Иду, ворчу:
«Ну, где ж вы тут, грибки?
Вы — рыжики? Вы — грузди и волнушки?»
Но на пути опять дерев верхушки
да груды сучьев —
не пробьешь из пушки, —
да острые высокие пеньки.

ГЛУХАРЬ

Черный веер хвоста,
по бокам, словно латы,
когти, как у орла,
Мать-природа ему все с избытком дала.
дуг надбровных рубины,
два сильных крыла,
клюв почти ястребиный —

Научила негромкой, но трепетной речи...

И могучим

сумел он себя осознать!

И остался навеки

на диво беспечен:

кто там, что там внизу —

наплевать, наплевать!..

Стают снѣги в лесу, устоится погода, —
он, доверяясь привычной ему высоте,
древний стих

основателя, может быть, рода
бормотать начинает еще в темноте:

«Тэк-тэк-тэк!»

Запрокинуто жаркое горло,
черный веер распахнут во всю ширину
и расстегнуты латы, и выгнута гордо
грудь в ревнивую, в чуткую ту тишину.

«Тэк-тэк-тэк!..» Пусть расколется небо

и треснет

под сосною земля!

Для него до поры
в мире нет ничего,
кроме собственной песни
и томительной этой любовной игры.

Но на деле —

ах, столько веков миновало! —
в мир давно уж на смену бесшумной стреле
громовые литые пришли самопалы —
сто смертей, коль без промаха,
в каждом стволе!

Ну, а он все поет...

Он, как прежде, бормочет
«стих» свой древний —

и слеп в это время, и глух.

И шаги отмеряет к нему между кочек
смерть...

И носятся в воздухе перья да пух,
где упал он.

Краснеет брусничинкой спелой
в клюве капелька крови... Бледнеет заря...

Не ошибся счастливый охотник прицелом:
очень точно направил смертельный заряд!
Подожел: «Ух, красавец!» — и поднял, помешкав.
Крылья — в стороны сразу: «Не птица, а царь!»
И, качнув головою, добавил с усмешкой:
«Но глухарь! Удивительный просто

глухарь!»

ШЛИ ИЗ РЕЧКИ КОНИ...

Реки — не человеки.
Но и они — не вечны.
Страшно открыть такое
разуму вопреки.
...Вот она — та дорога,
вот он — тот луг заречный,
мост, где была плотина...
Нет лишь самой реки.

Ласточек сколько было!
Нет...
Берега онали.
Галечник под ногами,
там, где была вода.
Господи, неужели
в детстве мы здесь купались?!
И неужель мой сверстник
здесь утонул тогда?!

Вздрагиваю: «Не сон ли?!»
Явь — тяжелей кошмара.
Грустно ступаю руслом,
думаю по пути:
как она умирала —
солнечного ль удара,
или — страшней — людского
сил не найдя снести?!

Реченька — ах, узнать бы! —
сколько тебе от роду

было, и что ты, речка,
видела на веку?
С камушка да на камень
ты все струила воду
и, наконец, открылась
первому мужику.

Он подошел напиться —
воду взмутила щука,
из камышей поднялся
выводок на крыло...
Плюнул мужик в ладони,
крякнул — и начал тюкать:
лес мужику был нужен —
«место краснó зело!»

В полдень, устав, купался...
Думал, присев на бревна:
«Только бы сил достало...
Лес-то — под облака!
Есть и полегше земли —
ясно! Тайга огромна.
Есть... Но ведь тут-то, тут-то...
Боже ты мой,—река!

А ведь река — не только
рыбно там да красиво,
речка — еще дорога,
банька на берегу...»
И поднялись здесь избы,
как и по всей России,
как и по всей России,
окнами на реку.

Сколько с тех пор разливов
было — никто не помнит...
Щуки плескались в речке —
хвост у иных — с весло!
Черпали бабы речку,
пили из речки кони —
не становилась мельче...
Что же произошло?

Что же?.. Ступаю ложем
речки, как небо древним:
здесь вот был Черный омут,
нынче — лишь бочажок...
Видимо, кто-то выше,
ниже моей деревни
меньше любил речушку,
плохо ее берег.

ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД

К погожему рассвету приурочив
событие,

в предчувствии утрат,
осенние березовые рощи
несметным войском вышли на парад.

И радостна была она для взгляда,
и почему-то трогала до слез
торжественность последнего парада
осенних облетающих берез.

Ворвется скоро «зимник» в их пределы —
и все... И лето канет за чертой.

Но прежде чем на землю ляжет белый
снег, —

долго будет падать
золотой.

И, ветками озябшими кивая,
березы будут елям напевать
одно и то ж: «До следующего мая!
Счастливо только б

перезимовать...»

К ОЗЕРУ

Не еду, не еду, не еду
на юг! «До свиданья!» — кричу
влюбленному в Ялту соседу
и на

Ярославский лечу!

Ни паспорта и ни путевки
со мною, но я не грущу:
сперва погостую у тетки,
у дядьки потом погощу.

Хочу разделить их беседу,
их песни послушать хочу...
Не еду на юг я, не еду —
как птица, на север лечу!

Плевать мне на прелести юга,
соседушка! Мне не нужны
ни лежбища

 праздного люда,
ни плеск черноморской волны;

ни легкие ваши «победы»,
ни жалкий ваш треп «с бородой»...
Я к озеру, к озеру еду
с глубокой и чистой водой!

Оно, голубея, глядится
спокойно весь день в небеса.

И, словно густые ресницы,
над ним нависают леса.

Рыбачит на нем лишь гагара;
нырнет — полчаса не видать.
Да выводков криковых пара
жирует — им там благодать.

Да чайки беспечные выются
иль плавают стаей одной,
белея как сахар на блюде,
на блюде с зеленой каймой.

А солнечный луч великаний
с лодчонки, при той тишине,
серебряной ложкой в стакане,
бывало, покажется мне.

А сколько в том озере рыбы...
Закинешь — на дно поплавок!
Спасибо, Природа, спасибо
тебе за такой уголок;

за то, что, считая потери,
его ты хранишь до сих пор...
Я выведу в полдень на берег
с добычей — и вспыхнет костер!

Забьют плавниками упруго
в ведерке моем окуньки...
И шумно с соседнего луга
нагрянут к ухе мужики.

Желанных гостей привечая,
я крикну им через плечо:

Если даже и вправду
 сотрутся все грани
между городом, как говорят, и селом,
и ученые доки об этом «стиранье»
будут лишь вспоминать,
 как о давнем былом;

если вырастут даже свои Паганини
и в селе,
и послушать концерт
города
будут рваться в село, —
все равно между ними
будет грань —
 очень резкая грань! —
и тогда.

Ни всеильный прогресс — он грядет! —
и ни годы
не сотрут эту грань.
Человек из села
будет вечно общаться
 с живою природой,
на земле —
 все на пей же —
 справляя дела.

И все будет в нем жить
 эта древняя радость
ощущенья колосьев
 в зеленых ростках,

грузных гроздьев
в ожившей лозе винограда,
листьев — в почках,
и сладких плодов — в лепестках.

Будут воды сверкать бирюзово и ало,
соловьи будут горло росой полоскать.
Будет чистое небо...
А это — не мало!
Это все в городах
и сейчас поискать.

И быть может: «Ищу подходящее
место», —
горожанин повесит записку в селе.

Ты, читатель, не смейся:
еще неизвестно,
кто счастливей свой век
проживет на земле.

СОДЕРЖАНИЕ

I. КОЛЫБЕЛЬ

Плуг и борозда	11
Кисть рябины (<i>Осенние этюды</i>)	13
Три сосны	20
Она мне матерью была	22
На крылечке	25
Ревность	28
Не пляшут	30
В защиту стариков	34
Перекур	38
Когда сыновья на войне	40
Песня о кузнеце	43
Вторая песня о кузнеце	49
Пишите письма матерям	59
Рожденья 1945	60
Воробы	63
Картошка и цветы	66
Россия	67
От крылечка	72

II. ТРИ КЛАДА

Она не скажет... (<i>Из цикла «Природа-Мать»</i>)	77
1. «Услышу ль сосен шум...»	77
2. «Придите к ней...»	78
3. «...И если светлой радости полна...»	79

4. «Три клада у Природы есть...»	80
5. «Ты — Человек...»	81
6. «Природу покорить?!»	82
7. «Малыш, прижав к груди...»	83
8. «Но ты, оставшись с ней наедине...»	84
9. «Взглянув на то, что смято...»	85
10. «Случится даль да глушь...»	86
11. «Я не люблю природу!..»	87
12. «Речушка вдоль околицы текла...»	88
13. «От берегов, закованных в гранит...»	89
14. «Какие снятся рекам чудеса...»	90
15. «...И сели мы за столики...»	91
16. «Лес — самая высокая трава...»	92
17. «Лес для тебя...»	93
18. «Зеленый друг...»	94
19. «О грибки!..»	95
20. «Ах, трудно ли...»	96
21. «Вам...»	97
22. «Твержу, на тополь глядя...»	98
23. «Что там ни говори...»	99
24. «Да, силы стали слишком неравны...»	100
25. «В поля я вышел...»	101
26. «От блеска рамп...»	102
27. «...И вот мы на Луне...»	103
28. «Земля...»	104
29. «Я говорю...»	105
30. «Когда бы я не знал...»	106

31. «Когда б я знал лишь...»	107
На тетеревином току	108
Чем дальше в лес...	111
Глухарь	113
Пили из речки кони...	115
Последний парад	118
К озеру	119
«Если даже и вправду...»	122